



## У. НА РУБЕЖЕ НОВОЙ ЖИЗНИ

Чернышевский был богато одарен тем, что мы называем теперь чувством нового. Люди, лишённые его, обычно быстро теряют способность к развитию. Питаясь затверженными истинами, слепо следуя устаревшим авторитетам, они отвергают все, что звучит непривычно для их слуха и не укладывается в рамки установившегося кругозора.

Чувство нового не позволяло Чернышевскому довольствоваться только достигнутым, оно постоянно вело его вперед и вперед...

Оно помогало ему, особенно в юности, одолевать преграды, находить верное решение, даже если он и не вполне был подготовлен к нему.

На примере восприятия Чернышевским революционных событий 1848 года можно видеть, что значило для него это чувство. Давно ли он покинул отчий дом, где мирно и тихо протекли его детские и отроческие годы? Отец поразился бы теперь его умонастроению.

Он не устает спорить с Терсинским, которого начал уже в глаза называть отсталым; в университете, в беседах с товарищами он рьяно защищает социалистов.

С первых же дней, как Чернышевский узнал, что Париж стал огромным полем сражения, симпатии его были всецело на стороне тех, кто поднялся на защиту своих прав с оружием в руках.

Ему грустно было, что горячо любимый им отец, которого он уподоблял по благородству характера Олверти из «Тома Джонса» Фильдинга, не разделил бы теперь его мнений о революционных событиях. Ведь и отец тоже именем бога учит униженных и притесненных подставлять под удар свои ланиты и стремится связать им руки каким-то нравственным долгом. В эти дни Гавриил Иванович писал сыну: «Пусть холера идет туда, где не жалеют жизни, режутся».

Но сыну хотелось все-таки объяснить заблуждения отца только его незнанием истинного смысла того, что происходит. Ему хотелось думать, что, может быть, независимо от укоренившихся предрассудков, просто по самому существу своей натуры, по склонности быть справедливым, отец осознал бы, как подло устроено общество: «...Человек, чуждый партий и даже не знающий их, — что было бы, если по его мнению, конечно, глубоко беспристрастному, устраивать дела? Мог ли бы он отказывать в *droit du travail* (праве на труд. — Н. Б.), над которым так безжалостно смеются и которое истинная причина переворотов (то-есть пауперизма)?»

Но могло ли быть беспристрастным мнение отца?

На летние вакации 1848 года Чернышевский домой не поехал. Он должен был остаться в Петербурге. Его удерживали дружба, занятия филологией (он готовил словарь летописи Нестора). А главное — хотелось отсрочить свидание с родными, чтоб не объясняться, не ставить точек над *i*, не поднимать волновавших его вопросов о религии, о ненавистных крепостнических порядках России, о революции на Западе.

Некоторые беседы с Лободовским, записанные в дневнике Чернышевского, показывают, что мысли своих уже в то время были заняты вопросом о возможности близкой революции в России.

Как-то раз пошел Чернышевский проводить своего друга. Лободовский дорогою стал горячо говорить о том, что можно поднять и в России революцию и что он часто и много думает об этом.

— Элементы, — сказал Лободовский, — есть, ведь поднимаются целыми селами и потом не выдают друг друга, так что приходится наказывать по жребию; только единства нет, да еще — разорить могут, а создать ничего не в состоянии, потому что ничего еще нет.

И потом, помолчав, Василий Петрович признался, что «мысль участвовать в восстании для предводительства у него уже давно».

Продолжая разговор, Лободовский вспомнил о Пугачеве.

— Пугачев — доказательство, но доказательство и того, что скоро бросят, ненадежны, — возразил ему Чернышевский

— Нет, Николай Гаврилович, они разбивали линейные войска, более, чем они, многочисленные.

Что же удивительного в том, что Чернышевского непреодолимо тянуло к Василию Петровичу? Время их сближения совпало с лучшей порой жизни Лободовского. Потом последовало постепенное умиротворение и отход от юношеского революционного романтизма. Шутка ли сказать — участвовать в восстании для предводительства! Поднять крестьянскую революцию в России 1848 года, возглавить ее, разбивать регулярные войска... Да об этом не снилось тогда и самым решительным головам.

Только со временем для Чернышевского стало ясно, что революционные настроения его друга были весьма непрочны и неустойчивы. Совсем различными путями пошли впоследствии они. Старший пылко и смело начал, но тихо кончил свой век в чине статского советника, а младший, начинавший с виду робко и нерешительно, сделался великим революционером, человеком железной воли и непоколебимой стойкости.

Лето и начало осени 1848 года прошли в чтении «Мертвых душ», «Бэлы», «Тамани», «Княжны Мерн». Впрочем, трудно даже назвать это просто чтением. Чернышевский вдумывался в каждое слово этих произведений, подолгу останавливался на деталях, изучал каждую сцену. Наконец он принялся переписывать лермонтовскую прозу. Большею частью он занимался переписыванием по ночам, когда Терсинские укладывались спать, но иногда и на глазах у них, хотя делал в таких случаях вид, что переписывает словарь летописи Нестора. Ему не хотелось, чтоб они видели, до чего он увлечен Лермонтовым. В эти минуты он должен был оставаться наедине с Печориным.

И Гоголь и Лермонтов входили в его жизнь, как живые люди. Нередко он представлял себе, как волновался бы он при встрече с ними.

Разговоры об этих писателях с Василием Петровичем были всегда особенно задушевные, словно бы речь шла о чем-то понятном по-настоящему только им двоим.

— А ведь «Мертвые души» Гоголя выше «Гамлетта», — сказал ему как-то Лободовский. — Вот сказать это Никитенке — разинет рот, а почему разинет, сам не будет знать, — это удивительно.

Воображение Чернышевского так было занято любимыми книгами, что и в окружающей жизни на каждом шагу находил он подтверждение мыслей, вызываемых чтением Гоголя и Лермонтова. Это все более убеждало его, «как в самом деле важны повести и романы для знания и суждения людей».

«Вот ведь, — говорил он себе, — Терсинские решительно для меня были бы непонятны без Гоголя в своих взаимных отношениях».

Размышляя о том, как томительно-скудно бывает ему в обществе двоюродной сестры и зятя, как безучастен стал он к ним, Чернышевский невольно обращается к «Герою нашего времени»: «...Мелькнула мысль, хорошо объясняющая скуку Печорина и вообще скуку людей на высшей ступени по натуре и развитию: следствие развития то, что многое перестает нас занимать, что занимало раньше. Это я испытываю, сравнивая себя с Любинькою и Иваном Григорьевичем...»

Так повседневное, близкое, личное переплеталось с тем, что он черпал из книг. Но, конечно, этим делом вовсе не ограничивалось, иначе Чернышевский не стал бы впоследствии великим критиком.

С пристального изучения Гоголя и Лермонтова началось развитие и формирование критических способностей Чернышевского. Он учится выделять основную идею произведения, взвешивать соотношение частей с целым, анализировать характеры и поступки героев, разбирать каждую деталь, то-есть учится критическому мастерству. Он читал любимых писателей с жаром и страстью, буквально боготворил их, называл «спасителями», за которых готов был «отдать жизнь и честь».

Каждая заметка двадцатилетнего юноши, касающаяся «Героя нашего времени» и особенно «Мертвых

душ», ясно показывает, что в нем уже тогда пробуждалось природное критическое дарование огромной силы. Мало того, что Чернышевский тонко анализирует характеры основных персонажей «Мертвых душ»; мало того, что он схватывает самые, казалось бы, трудно уловимые поэтические частности, — он уже обнаруживает умение обнять общим взглядом всю сложность замысла и построения эпической поэмы Гоголя, отобразившей русскую жизнь в ее разнообразных сферах.

Временами в этих записях прорывается и публицистический пафос будущего революционера-просветителя, рассматривающего литературу как могучую силу, способную при известных исторических условиях оказывать громадное влияние на общественную жизнь.

Его предчувствия относительно своей будущей роли проникнуты настоящей любовью к родине, сознанием величия ее назначения, залог которого он видел тогда прежде всего в деятельности любимых писателей.

«Если писать откровенно о том, что я думаю о себе, — не знаю, ведь это странно, — мне кажется, что мне суждено, может быть, быть одним из тех, которым суждено внести славянский элемент в умственный, поэтому и нравственный и практический мир, или просто двинуть вперед человечество по дороге несколько новой. Лермонтов и Гоголь, которых произведения мне кажутся совершенно самостоятельными, которых произведения мне кажутся, может быть, самыми высшими, что произвели последние годы в европейской литературе, доказывают для меня... что только жизнь народа, степень его развития определяет значение поэта для человечества, и если народ еще не достиг мирового, об-

щечеловеческого значения, не будет в нем и писателей, которые должны быть общечеловеческими...<sup>1</sup> Итак, Лермонтов и Гоголь доказывают, что пришло России время действовать на умственном поприще, как действовали раньше ее Франция, Германия, Англия, Италия».

Пошел третий год пребывания Чернышевского в университете.

Начало занятий не произвело на него никакого впечатления. Опять все те же примелькавшиеся лица однокурсников. Вихрастый Лыткин, скромный, тихий Славинский, заяка Орлов, поражающий своею глупостью Залеман, неряшливый и грубый Герасим Покровский, Корелкин, с которым приходится соперничать в занятиях по славянской филологии у Срезневского, Галлер, Главинский, Воронин...

Те же профессора — педантичный Фрейтаг; дряхлый семидесятилетний Грефе; самодовольно рисующийся Куторга, добродушный Плетнев, никогда не расстающийся с черной тростью, которая досталась ему, как уверяют, на память от Пушкина; велеречивый Никитенко с его манерой усиленно жестикулировать, а при слове «изящное» как-то особенно поднимать вверх правую руку и складывать в кольцо указательный и большой палец. Цитаты из Гегеля, устаревшие положения, общие слова об истине, добре и красоте.

А ведь Никитенко еще один из лучших профессоров. Срезневский и Никитенко. Прочих Чернышевскому ре-

<sup>1</sup> Это одна из излюбленных мыслей Белинского (см., например, «Обзор русской литературы за 1841 год»), как видим, очень рано усвоенная Николаем Гавриловичем.

шительно не хотелось и слушать. Он стал горячо и убедительно доказывать студентам, что посещать лекции Грефе нет никакой надобности. «Довольно, довольно, господа классические филологи! Есть вещи более важные, более интересные, чем ваши склонения... 1789 год... Новая философия... Франция этих дней...»

Как-то раз Чернышевский, сидя в университетской библиотеке, просматривал энциклопедический словарь Эрша и Грубера. Ему попала статья о якобинце Эбере, написанная резко осудительно, с нескрываемым пристрастием: «Эбер — только бесчестный демагог, которому грозные дни революции помогли завоевать свое счастье, враг церкви, беспринципный главарь какой-то кучки безумцев, жаждавшей власти».

Странное дело, эти обличения уже не оказывали теперь на Чернышевского никакого действия. В душе его не шевельнулось чувство осуждения кровавых дел. Ему показалось, что он и впрямь становится последователем «красной республики», если угодно — даже террористом. «Не революционист ли я?» — спрашивает он себя, и сам удивляется тому, что образ его мыслей успел претерпеть такие сильные изменения за два года его пребывания в Петербурге. Теперь все чаще встает перед ним этот вопрос; по мере того как глубже и глубже впитывает он в себя историю, по-иному начинает воспринимать современность и проникается постепенно горячею верой в будущее.

В истории его влекут к себе суровая и величественная тень Кромвеля и монументальные фигуры деятелей французского Конвента.

В современности — рыцарски прямодушный Барбес, избранник парижских предместий рабочий Альбер, пылкий Луи Блан, идеям которого юноша Чернышевский особенно сочувствует, потому что Блан — это пер-



*вый* из тогдашних его учителей в социалистическом духе<sup>1</sup>. Ведь именно из «Люксембургских бесед» Луи Блана Чернышевский узнал тогда «все эти вещи», то-есть получил представление о сущности новых начал, провозглашенных во Франции.

«Уж не решительно ли я революционист?» — снова спрашивает он себя, проверяя свое впечатление от знаменитого единоборства Прудона с Тьером в июле 1848 года.

Его поразил «необыкновенный жар» прудоновского ответа Тьеру, когда Прудон, как «неукротимый гладиатор», поднявшись вдруг во весь рост, заставил смолкнуть яростные, враждебные голоса, посылавшие его в дом для умалишенных.

Защитник буржуазного правопорядка, Тьер, отвергая перед Собранием финансовый проект безансонского утописта, пытался задеть личную честь своего противника намеками на моральное растрепывание людей, проповедующих уничтожение собственности. И упорный плебей Прудон поднял перчатку, брошенную ему Тьером. «Говорите о финансах, но не говорите о нравственности; я могу принять это за личное оскорбление, я вам уже сказал это в комитете. Если же вы будете продолжать, я... я не вызову вас на дуэль (Тьер улыбнулся), нет, мне мало вашей смерти, — этим ничего не докажешь. Я предложу вам другой бой. Здесь, с этой трибуны, я расскажу всю мою жизнь, факт за фактом, каждый может мне напомнить, если я что-нибудь забуду и пропущу. И потом пусть расскажет свою жизнь мой противник!» (Маркс, характеризуя эту схватку, пи-

---

<sup>1</sup> Истинная роль этого мелкобуржуазного французского социалиста стала ясна Чернышевскому лишь несколько позднее. В юности он переоценивал значение Луи Блана.

сал, что: «Рядом с Тьером Прудон казался каким-то допотопным колоссом».)

Взоры всего Собрания были обращены на Тьера, с лица которого исчезла улыбка. Ответа не последовало.

Через несколько дней после того, как Чернышевский прочитал об этом выступлении Прудона, ему пришлось услышать весьма недоброжелательный отзыв о проекте Прудона из уст профессора всеобщей истории Куторги.

Куторга, отклонясь от беседы о начале феодализма, раскритиковал перед студентами предложение Прудона о даровом кредите и вдобавок разбил автор этого проекта.

Чернышевский, чувствовавший непреодолимое тяготение и симпатию к нововводителям, подрывавшим устои старого порядка, был так живо затронут словами профессора, что решил даже написать в защиту Прудона<sup>1</sup> письмо и перед началом следующей лекции незаметно положить его на стол профессору. Но оно так и осталось лежать в кармане Чернышевского.

«Уж не становлюсь ли я человеком крайней партии?» — опять и опять спрашивал себя Чернышевский, возмущенный обвинениями, выдвинутыми следственной комиссией во главе с тупоголовым болтуном Одиллоном Барро против таких людей, как Коссидьер, Луи Блан и Ледрю Роллен.

И тут же он убеждал себя: «В сущности, нет ничего странного, что реакционному большинству Собрания люксембургские речи Блана кажутся «великим престу-

---

<sup>1</sup> Зрелый Чернышевский совершенно иначе относился к Прудону, отчетливо сознавая порочность его теоретических построений.

плением»: «...они в ужасе от этого, а мне кажется это самыми обыкновенными теперь речами, выражением мыслей, которые должен предполагать каждый умный человек во Франции у себя и у другого умного человека — что народ выше Собрания, — следовательно, имеет право повелевать им... Они, конечно, не могут удержаться от преследования этих идей, но эти идеи велики и в них благо человечества и грядущее его...»

«Не люблю я этих господ, которые говорят свобода, свобода — и эту свободу ограничивают тем, что сказали это слово да написали его в законах, а не вводят в жизнь, что уничтожают законы, говорящие о равенстве, а не уничтожают социального порядка, при котором девять десятых народа — рабы и пролетарии; не в том дело — будет царь или нет, будет конституция или нет, а в общественных отношениях, в том, чтобы один класс не сосал кровь другого. И какое подлое лицемерство! «Мы не требуем приговора над ними», вы не суд! *Vous ne préjugez rien!* (Вы не предreshаете ничего!) Что за низость, — играют словами и накидывают маску! Если когда я был убежден в справедливости чьего дела, так это Ледрю Роллена и Луи Блана. Великие люди! Особенно я люблю Луи Блана, это человек духа, это великий человек!

А это сильное разочарование — видеть, что так преследуют этих людей те, которые ничто перед ними, и, может быть, несколько подобных вещей, как решение Национального Собрания о Луи Блане и Коссидьере, заставят меня оставить мое убеждение, что не те теперь времена, как в 1793 году, когда казнили все всех, и что настали времена новые и лучшие, где уважают убеждения в противнике, где не думают, что законопреступно всё высказать, всякое сильное убеждение, всякую новую (то-есть новую только для господ, кото-

рые не хотят видеть ее во всей истории) мысль. «На эшафот! На эшафот! туда его, — он говорит, что он сын божий! по закону нашему должен есть умереть!» Да, великую истину говорят Ледрю Роллен и Луи Блан — не уничтожения собственности и семейства хотят социалисты, а того, чтобы эти блага, теперь привилегия нескольких, расширились на всех! О, боже, дай победу истине! Да победит она!»

Хотя душа и мысль Чернышевского жили уже далеко за пределами университетских стен, он все же должен был каждодневно посещать лекции, записывать их, подавать профессорам свои работы, ждать их оценки, вникать во все интересы своего курса, вплоть до мелочей.

Между тем отношения его с профессорами классических языков — с Фрейтагом и Грефе, особенно с первым, обострились и вот-вот готовы были обратиться в ссору. Она назревала постепенно, и Чернышевский еще недели за две до возобновления занятий принял решение или вовсе уклоняться от посещения лекций Фрейтага и Грефе, или заниматься на них своими делами: писать, например, дневник или письма домой и, по возможности, не принимать никакого участия в беседах, — словом, вроде как бы отсутствовать.

Одним из поводов к такому молчаливому протесту была мелочная, бессмысленная, удручавшая его придирчивость этих профессоров и вдобавок еще грубость Фрейтага, не обращавшего внимания на то, что он попирает достоинство студентов своим гувернерски-строгим тоном.

Чернышевскому всегда были крайне неприятны чьи бы то ни было повадки повелевать, третиловать других, распоряжаться ими, попираť чужую свободу.

В университете он сразу же проникся антипатией к инспектору Алексею Ивановичу только за предоставленное тому право подойти и в любую минуту сделать ему замечание, что он не при шпаге, что у него расстегнута пуговица на мундире, что пора подстричь волосы — они слишком длинные, и тому подобное. Уже одна эта возможность получить замечание заставляла Чернышевского оставаться в аудитории даже во время перемены — лишь бы не столкнуться в коридоре с Алексеем Ивановичем.

Можно представить себе, как раздражали Чернышевского, как ненавистны были ему высокомерие самоуверенного Фрейтага, злорадно ловившего студентов на ошибках, его замечания, его неуместные шутки на латинском либо на ломаном русском языке! Были еще свои особые причины у Чернышевского негодовать на Фрейтага. Профессор будто и не замечал его действительно превосходного знания латыни, а наоборот, при случае старался кольнуть, да по сильнее, за какую-нибудь мелкую ошибку или сказать что-нибудь обидное, как сказал, например, в конце минувшего учебного года, что Чернышевский весь год подавал переложки или переложения из древних писателей, — а это более легкое дело, — и что поэтому он, Фрейтаг, хоть и не осуждает, но «впредь ждет своего».

Демонстративное ли отсутствие Чернышевского на некоторых лекциях Фрейтага и Грефе, замеченное ими, или, может быть, что-то более серьезное привело в конце концов к вспышке затаенного недовольства и к ссоре его с профессорами. Тут вмешался и попечитель Мусин-Пушкин, сделавший Чернышевскому, по видимому, резкое внушение. Самолюбивый юноша не мог ему этого простить и долго потом был одержим страстным желанием отомстить этой «гадкой разва-

лине», нанести ему оскорбление, дать пощечину или что-нибудь в таком роде.

Кто-то из земляков — трудно было догадаться кто, — проведав об этом недоразумении, услужливо сообщил тогда же обо всем случившемся в Саратов. Обеспокоенный Гавриил Иванович, едва смирив душевную боль и тревогу, спрашивал сына в письме: что за история вышла у него в университете?

